



Роман Виктюк.
Фото Павла Корнеева

О Роме Виктюке написано и сказано достаточно. Кто-то называет его «гениальным славянским режиссером», кто-то — профанатором и негодяем, если не хуже... Что ж, время у нас такое, плюралистическое, говори что хочешь... Но и те, кто обожает Виктюка, и те, кто ненавидит, невольно сходятся в одном: Роман Григорьевич — яркая, нетривиальная личность, прочно вошедшая в русскую, да, наверное, и мировую культуру конца XX века.

Вера Камша

РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ, у каждого человека бывают в жизни события, определяющие всю его дальнейшую судьбу. Иногда они заметны всем, иногда о них знает только сам человек... Если это возможно, расскажите о том, что вы считаете главной поворотной точкой в своей биографии.

— Все началось в Вильнюсе, в то время, когда я работал там в русском театре. Меня давно манил Серебряный век русской культуры, но это были какие-то отголоски, тени на стене, возможности же соприкоснуться с ним ни у меня, ни у большинства обычных людей не было. Но я знал, что в библиотеке Академии наук есть некий закрытый фонд, где находится то, что мне нужно. Я долго придумывал (и придумал-таки!) формулировку, которая удовлетворила бы КГБ. В конце концов мне удалось объяснить блюстителям коммунистической идеи, почему мне непременно нужно изучить весь аспект культурной жизни до 1917 года. И мне разрешили посещать этот закрытый фонд.

ЦВЕТOK ПЕРЕСТРОЙКИ

Независимая газета — 2000, — 30 января, — с. 13
Знание и вера Романа Виктюка

А теперь представьте себе очень маленькую (два на два) комнатку, в которой можно только читать. Категорически запрещалось приносить с собой ручки, карандаши, тетрадки. Я брал нужные мне книжки, приходил, садился, за мной запирали дверь на ключ, и я наконец получал возможность читать. Когда я заканчивал, то стучал в дверь, и меня выпускали...

— И что же вы изучали в столь неприятных условиях?

— Самые неприятные условия перестают быть таковыми, если встретишь настоящего человека. Я до сих пор с благодарностью и невероятным уважением вспоминаю женщину, кстати говоря, литовку, следившую за этим фондом. Она была моей поклонницей по театру (чего я тогда не знал) и ради меня пошла на колоссальный риск. Мало того что она не обращала внимания на то, что я приносил с собой ручку и бумагу; однажды я заметил, что в книге, куда она должна была записывать, что же я беру, она не помечает всего. Самыми «крамольными» из читанного мною в ее версии являлись дневники Николая Второго. Ни Бердяев, ни Сергей Булгаков, ни Шестов в доносе (а это был именно входивший в профессиональную обязанность донос) не значились. Эта женщина не только уберегла меня от крупных неприятностей, она дала мне возможность приобщиться к Истине, сделав доступным то богатство, тот клад Серебряного века, что был скрыт в ее библиотеке.

— Но неужели в глазах КГБ Бердяев или Шестов были страшнее Николая Второго?

— Разумеется. Читать царские дневники значило удовлетворять вполне естественное, даже с точки зрения чекистов, любопытство. Другое дело — религиозная философия начала века, которая несла в себе вещи, смертельные для господствовавшей тогда мертвой и жестокой идеологии. Ленин был умным человеком. Не зря он вышвырнул величайших русских философов вон из страны, причем сделано это было таким образом, что они только на борту корабля узнали, что больше родины у них нет. Открытые ими истины на долгие годы стали страшнейшей государственной тайной, мы же, кому их слова, мысли, чувства были жизненно необходимы, оказались отрезаны от них.

Это теперь того же Бердяева можно спокойно купить и прочесть. Другое дело, что желающих делать это огорчительно мало. Для меня же Бердяев, Булгаков и Шестов стали первыми духовными учителями. Они предвидели все, что с нами случится, на десятилетия вперед, то, во что мы окунулись сегодня. Никто лучше них не постиг природу человека, свободы, духовности и отвергающих их понятий, таких, как коммунизм. Их предвидение, их боль, их сожаление — это наши сегодняшние дни. Прошло без малого столет, а оказывается, ничего не изменилось ни в природе человеческой, ни в законах мироздания...

— Неужели вы, человек театра, прошли мимо драматургии того времени, ведь Серебряный век не ограничивается лишь философией...

— Для меня Серебряный век — это прежде всего Петербург. На поэзии, драматургии, философии начала века лежит ответ души этого города, где сам воздух кажется серебряным... Это не модерн, не декадентство, пришедшие издалека, это нечто созвучное именно нам, высокое, пронзительно чистое. Я считаю, что русский поэтический театр Серебряного века — это не только совершенно не освоенная территория, но театр будущего.

Более семидесяти лет мысли и чувства той прекрасной эпохи прорастали сквозь мертвое учение и искусство, в котором не было искусства, с упорством прорывающейся сквозь асфальт травинки.

Я твердо верю, что ничего нигде не исчезает. Рукописи не горят. Сегодня и философия, и живопись, и литература вернулись на свою родную землю. Никто не смог этого предотвратить, хотя, кажется, для этого были измыслены и применены самые чудовищные способы.

Лично я называю себя цветком перестройки, который этот чудовищный асфальт все же прорвал. Естественно, что я тут же обратился к моим духовным родителям...

— У вас, видимо, есть, не могут не быть какие-то серьезные замыслы, касающиеся той эпохи?

— Все пока достаточно смутно, но я просто мечтаю о постановке по Гумилеву, Кузмину и ахматовской «Поэме без героя». Театр Гумилева — совершенно особенный, его «Гонимый» и «Отраженный» — одни из самых великих пьес, когда-либо написанных.

Возможно, Гумилев и сам в полной мере не осознавал, что же он создал,

какие возможности открыл для театра. Кстати, именно с Гумилевым связана трагическая и глубоко символическая история. Когда он был арестован и, видимо, уже знал, что его ждет, в городе состоялась премьера его «Гонимый». Это не могло быть совпадением, в мире нет ничего случайного, особенно когда речь идет о людях такого масштаба.

Мне часто представляется действие, идущее параллельно: драма, рожденная фантазией Гумилева, и его собственная драма на фоне страшных тюремных стен... Есть и еще одна тема, которая проходит через творчество и Гумилева, и Толстого (Алексея Константиновича), и Пушкина, и Моцарта, и Мольера... Это тема Дон-Жуана. Увы, Дон-Жуан Серебряного века мировой публике почти неизвестен, а ведь это колоссальный духовный прорыв в вечность, осмысление одной из вечных тем! Дон-Жуан — мировой архетип, имеющий колоссальное значение для любой эпохи. У Гумилева он возвращается на землю, пробуждая многие столетия в лабиринтах преисподней. Он возвращается именно в Серебряный век и вновь бросается в пучину жизни.

— Роман Григорьевич, а вы оправдываете Дон-Жуана?

— По большому счету, безусловно. В жизни нашей существуют страдание, одоление и радость. Мы должны пройти первые два, чтобы прийти к третьему, но человеку свойственно сразу желать радости, уклоняясь от пути, который он должен пройти...

Что до Дон-Жуана, то мне и самому неприятна мораль, против которой он шел. Жуан, Гуан — живое олицетворение радости бытия, за которую стоит заплатить любую, пусть самую страшную цену. Он прошел путь страдания, одоления и заслужил свою победу. Думаю, что в той постановке, которую я хотел бы сделать, я начну с Пушкина и перекину оттуда мост в Серебряный век, а возможно, и дальше, в наше время. Может быть, войдут и европейские версии судьбы мятежного гранда... Знаете, у каждого свой Дон-Жуан. Это сторона души, присущая человеку. Мне интересно расшифровывать, чувствовать, подходить к тайне этого архетипа с разных сторон. Сразу схватить это невозможно, поэтому мне и хочется, чтобы явление Дон-Жуана в его разных ипостасях развивалось на протяжении какого-то исторического периода, хотя бы двух столетий. От Пушкина, с которого и начинается большая русская литература, до наших дней. Потому что сегодняшний Дон-Жуан уже не есть Дон Гуан Александра Сергеевича, происходит метаморфоза этого типа. Каждый век должен вновь и вновь осмысливать вечные мифы.

— Невозможно удержаться от конъюнктурно-театрального вопроса. Многие считают, что сейчас театр, да и вообще культура гибнут... Другие, напротив, полагают, что лишь сейчас искусство стало по-настоящему свободным. А что по этому поводу думает Виктюк?

— Я категорически не согласен с теми, кто хоронит театр. Это неправда.

Да, сейчас непростая эпоха, и театр, как и все остальное, испытывает ее на себе. И тем не менее я думаю, что все происходящее с ним закономерно. Просто в один прекрасный августовский день (я сейчас говорю о театре, а не о стране и не о государственном устройстве) он остался один на один с собой. И оказалось, что мы еще не готовы к театральности в лучшем смысле этого слова, к театральности, которая есть самое величайшее добро и величайшая сила театра. Долгие годы то, что было завешано и Таировым, и Мейерхольдом, было приостановлено.

Владычествовали структуры, требовавшие от искусства быть зеркалом, которое отображало бы того, кто в него смотрит, так, как ему хотелось бы. Но нельзя забывать о том, что это зеркало всегда было замутненным, оно не отражало реальной, подлинной сути человека.

Тот, в ком сильнейшим было животное начало при полном или практически полном отсутствии начала духовного, смотрелся в это мутное зеркало, стоя на четвереньках, а видел себя стоящим на двух ногах. Искусство же должно отображать мир и человека в его подлинном облике, пытаться раскрыть его вечную загадку. Ведь до сего дня человек — самая великая тайна мироздания.

— Значит, нужно все перечеркнуть и начинать сначала?

— Не все, но многое. До недавнего момента культура чаще всего являлась прикрытием, ширмой и правду о человеке не говорила. Конечно, были люди, которые все понимали и называли вещи своими именами. Уже стал каноническим пример Солженицына; писал о жизни, как она есть, и Андрей Битов, удивительно тонкий и умный писатель, но этого было мало. Сегодня же появилась возможность, нужно спешить говорить правду...

— Ваша работа, работа режиссера, неразрывно связана с отбором произведений для постановки. По какому принципу вы это делаете?

— Мой ответ, возможно, покажется несколько необычным. Но я не сомневаюсь, что это так. Я верю, что души, которые от нас ушли — писатели, поэты, философы, — продолжают наблюдать за нами через некие окошки, которые выходят «оттуда» на нашу грешную землю... И души эти своей нежностью, своим светом влияют на нашу жизнь. Мне кажется, следящие за нами намекают кого-то, кто в данный исторический момент может и должен решить какую-то задачу, а потом этот человек что-то делает не потому, что он хочет, а потому, что не может этого не делать.

Так было у меня с Толстым, когда я ставил «Анну Каренину». Я поставил ее, но она меня не отпустила. И я снова поставил ее в Швеции. То же и с Достоевским, его «Братьями Карамазовыми». Я эту вещь поставил, сделал, казалось, все, что мог, а Федор Михайлович опять меня тревожит, требует к ответу, заставляет вновь вернуться к проблеме карамазовского ада. И ад этот — сегодняшний день. Поймите, что не я сам, своим умом, своей волей, выбираю то-

го или иного писателя, то или иное произведение. Скажи я так, это было бы неправдой. Я делаю то, что должен, и при этом испытываю неподдельное счастье. Более того, это настроение передается тем, с кем я работаю. У нас нет и не может быть бед, обычных в театральной среде, — зависти, ненависти, ревности...

Наверное, именно поэтому с нами играют звезды мирового масштаба, такие, как Наталья Макарова, Елена Образцова, Алиса Фрейндлих. Они работают с нами радостно и напряженно, так как при подготовке спектаклей у нас царит совершенно особенная атмосфера. Это настроение сходно по искренности и силе с молитвой.

— Но ведь вы не можете существовать вне мира. Вы — известный человек, один из самых знаменитых современных режиссеров, а значит, вокруг вашего имени обязательно будут и сплетни, и зависть, и неприязнь...

— Я отдаю себе отчет в том, что мир полон зависти и ненависти, но это не повод отказываться от того, что ты делаешь, или не испытывать творческой радости. Хотя, конечно, уходящий век самый кровавый из всех, которые выпали на долю человечества. К сожалению, в нем торжествовали зло, насилие, ложь...

— Так вы все же оптимист или пессимист?

— Я пессимист по знанию, но оптимист по вере. Я надеюсь, что тот духовный запас, с которым мы отправлены на землю, и та степень свободы, которая нам всем дана изначально, позволят нам одолеть и ненависть, и безумие, и тягу к разрушению. И еще я надеюсь на то молодое поколение, которое сейчас входит в жизнь, на тех, кому сейчас по девятнадцать—двадцать лет. Они не такие, как мы. Они свободны по своей сути, они умеют и хотят думать, они должны оттолкнуть зло...

Я безумно завидую этому поколению и рад тому, что с ним общаюсь. Знаете, я сказал своим ученикам на первом занятии вроде бы простую вещь: сегодня профессор по справедливости должен сесть там, где должны сидеть ученики, а ученики там, где сидит профессор... Это шутка, но это и правда. У молодых совершенно уникальный взгляд на все ситуации сегодняшней жизни. И я рад, что у нас сразу же началось взаимное шествие душ к некоему самому важному для нас открытию...

Санкт-Петербург

ИЗ ДОСЬЕ «НГ»

Роман Григорьевич Виктюк родился в 1936 году. Работал во Львове, в студенческом театре МГУ. В 1991 году организовал «Театр Романа Виктюка». Среди его постановок «Вечерний свет», «Степан», «Федра», «Служанки», «Сатирикон», «М. Баттерфляй» и др.